

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

παρὰλιπομένων

Николай
Тарусский

Знак земли



СОБРАНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЙ

Николай Алексеевич Тарусский
Владислав Александрович Резвый
А. Л. Соболев

**Знак земли. Собрание
стихотворений**
Серия «Серебряный
век. Паралипоменон»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4964853
Знак земли: Собрание стихотворений / Сост. В.А. Резвый, А.Л.
Соболев.: Водолей; Москва; 2012
ISBN 978-5-91763-097-7

Аннотация

В настоящем издании впервые собраны под одной обложкой стихи Николая Алексеевича Тарусского (наст. фам. Боголюбов; 1903–1943). Малоаметный (или сознательно выдерживающий дистанцию) участник литературной жизни 1930-х гг., врач, путешественник, охотник, рыбовод, Тарусский был поэтом редкого у нас тематического спектра: в его внешне невозмутимые описания природы вплетены эсхатологические проекции,

выраженные скупым и звучным стихом. Часть стихотворений печатается впервые.

Содержание

Рябиновые бусы	6
I Рябиновые бусы	6
Память («Запечалясь, в рябиновых бусах...»)	6
«Ивняки сережками шептались...»	9
«Не звенят соловьиной весной...»	11
«Вечер пал на плечи смуглых пашен...»	12
Ночь («По-девичьи густыми волосами...»)	13
Утро («Русь осенней проселочной ряби!»)	16
Есенин («Захрипела кабацкая Русь...»)	18
II Стихи о Севере	22
Полярная поэма («В этих краях седых...»)	22
I	22
II	24
III	25
IV	26
Волки («Ветер. Мороз. Снеговая тоска...»)	27
III Карусель	30
Ярмарка («Колеса скрипят...»)	30
Деревенская весна («Тепло-тепло на завалинках...»)	33
Июль («Солнце светлого июля расцвело везде...»)	35

Я плыву вверх по Вас-Югану. Стихотворения 1928–1934	37
I	37
«Опять сижу, очерченный кругами...»	37
II	43
Про себя («Помолодеть бы на десяток лет!») 43	
Теплушки («Уж поезда давно в единоборстве...») 46	
«А через два года тридцать мне!» 49	
Турксиб («Верблюжьи колючки. Да саксаул...») 50	
III	53
Я плыву вверх по Вас-Югану «На горьком цвету черемух, под кедровый звон...») 53	
IV	57
Полк («Полк шел на север. Непогода...») 57	
Моя родословная 59	
1. Прадед 59	
2. Дед 61	
3. Внук 64	
Вьюга (1918) («За звонаря и метельщика...») 66	
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Николай Алексеевич Тарусский

Знак земли

*Издательство искренне благодарит Юрия
Сергеевича Коржа и Алексея Геннадьевича
Малюфеева за поддержку настоящего издания*

Рябиновые бусы

Посв. родителям

I Рябиновые бусы

**Память («Запечалясь,
в рябиновых бусах...»**

А.М.

Запечалясь, в рябиновых бусах
Ты глядишься ко мне в тарантас.

Не прогонит ямщик седоусый
Зычным голосом вдумчивый час.

Ночь беззвездная, месяц несветлый —
Скрип колес – неумолчно родной.
Поворотов дорожные петли
Перепутаны каждой верстой.

Шум березовый молчи не смоем,
Лес в веснушках стоит золотых.
Яснозвукая ночь надо мною
Уронила проселочный стих.

Воздух лунными вдруг хрусталями
Заструился на плечи твои.
Время прошлое стукнуло в память,
Но обратно меня не зови!

Мне рябиновых бус не касаться
И не трогать мне русых волос.
Сердцу новые девушки снятся
И слюбиться с другими пришлось.

Эти девушки в бога не верят,
Им серебряный крестик – запрет,
И они не грустят о потерях
Отшумевших и канувших лет.

До меня они многих ласкали;

Разлюбили и – к новым ушли.
Ты – осенняя! Ты – не такая!
Ты и в детстве не смела шалить!

Мне глаза твои снятся нечасто,
Загрустившие в жизни глаза.
Не от них ли ты стала несчастной
И не смела веселого звать?

Были круты печальные брови,
О которых успел я забыть:
За тобою мне девушек новых
Приходилось немало любить.

Сколько лет я родного не встретил!
В сердце старом – не прежний закал,
Но тебе не родимый ли ветер
О поездке моей рассказал?

Ты, рябиновых бус не снимая,
В тарантас загляделась ко мне.
И от этого ночь молодая
Начинает звенеть в тишине.

Ты от жизни устала, устала
И не любишь ты жизни своей.
Не томи же тоскою бывалой
По родимому близких полей!

Эта грусть, о которой ты пела,
Мне давно отшумела – давно.
Ты по-старому верить хотела
И не смела остаться со мной...

Ночь беззвездная, месяц несветлый,
Скрип колес неумолчно родной.
Поворотов дорожные петли
Перепутаны каждой верстой.

Ты напрасно печалишь мне думы,
Я к тебе никогда не вернусь.
В эту ночь за березовым шумом
Догорай, как осенняя Русь!

«Ивняки сережками шептались...»

Ивняки сережками шептались,
Ночь до неба выпрямила рост.
Месяц плыл за темными плотами
Золотой плавучей мглой волос.

Был далек лохматый пламень ивам, —
Без людей покинутый костер.
Встала ночь, и – пережат бурливый
Мчал реку в невидимый простор.

В шум весла раскапались искры
Звездных брызг по высини воды.
Смолкнул голос девичий и быстрый
За бугром росистым и седым.

Май и ночь. Весна и водополье.
То – тепло, то – зябко у весла.
Чья весенняя чужая воля
По реке ночной меня несла?

Чей костер зажжен за ивняками?
И какая девушка в ночи
Песнею своей, как огоньками,
Ночь сжигала и теперь молчит?

Не видал... и не увижу вовсе...
Шум весла – и лодку понесло.
Я притих и выгребать забросил,
Положив у ног свое весло.

Чернокудрой девушке ли, русой,
В темь кудрей иль в золото косы —
Звездные нанизывались бусы
Вперемежку с бусами росы?

Молчь реки. А сердце не стихает
И глаза глядят до ивняка...
О Весне тоскую я стихами
Над тобою, майская река!

«Не звенят соловьиной весной...»

Не звенят соловьиной весной
Серебристые грустные зимы,
Но опять над опушкой лесной
Льется воздух березовым дымом.

Снег ли марта повеял теплом
И дыханьем листвы скороспелой...
Я смеюсь горячо и светло
Над сосной, по-декабрьскому белой.

Хмурь седую хохлатых ветвей
Скоро солнце закапает вдосталь,
И раскрасится золотом дней
Тишина голубого погоста.

Зорней песнею розовый час
Будет утренним вестником жизни,
И веселыми иглами в глаз
Цветотравы порывисто брызнут.

Так не даром за русской весной
Я гоняюсь душистою думой...

Этот воздух в снегах надо мной
Льется весенним березовым шумом.

«Вечер пал на плечи смуглых пашен...»

М.К.

Вечер пал на плечи смуглых пашен
Тишиной березовой весны.
Стала жизнь невозвратно нашей,
И хотелось жить до седины.

Ветер пел, тревожился осинник
И на луг просеялась роса.
Сник закат за медленные сины,
За глухие смутные леса.

Час в любовь струился тишиною,
Жизнью теплой налилась ладонь.
С той весны ты сделалась женою,
И с тобой мы через жизнь идем.

Верим мы глазам и думам нашим,
Радуеться жить до седины.
Вечер пал на плечи смуглых пашен
Тишиной березовой весны.

Ночь («По-девичьи густыми волосами...»)

По-девичьи густыми волосами
Упавший месяц путал стрель реки,
Касался дна стремглав за ивняками
И выплывал в засонье осоки.

Зной соловьев кострами побережий,
Острей воды, струился по ночам.
Опять весна, такая же, как прежде,
И ночь весны, что встретилась вчера.

Мне ветер был знакомый не по разу.
Он полуспал иль вскакивал в размет.
Домчав небес в надоблачные лазы,
Огнями звезд пестрил круговорот.

В густую тень тепло вздыхали травы,
Свежая дождь осыпавшихся звезд.
Ночь напролет по-разному лукавит
То золотой, то черной мглою кос.

От месяца душисто золотится;
Затонет месяц – ночь опять черна.
И пусть лицо опахивает птицей

Крылатый сон, она не хочет сна.

Полутаясь в затишьи соловьином,
Она горит, как девушка весной.
И с зимних дум оттаивает льдины
Девическою теплою косою.

До губ моих касается, доверясь, —
Так целовала в прошлогодний май...
В ночном лесу зашевелились звери,
Невидимые, словно тьма сама.

Барсук ли, еж стремятся к водопою?
Расщелкался ли в ивах соловей?
Который раз целуется со мною
Живая ночь, любовницы живеи?

Ночь — девушка, знакомая так долго,
Изученная мною наизусть,
Любимая!.. Зачем же втихомолку
С тобой пришла и защемила грусть?

Не первый год как слушать я доволен
Шум задышавшей юной теплоты...
Но вспомнилось... я старой думой болен,
Доступной всем, как радость или стыд.

Струится час журчанием певучим
Под соловьиный голосистый гром.

Я думами про смерть свою измучен,
А смерть чужую чувствую ногой.

Чужая смерть – сгнивающие пали,
В которых нет зеленого огня.
Они в черед и к сроку догорали,
Чтоб этот гриб их ржавчину поднял.

Закат и ночь. День в звуках до отказа.
Звук умирает, никнет, что ни ночь.
Но разве дням, не отдохнув ни разу,
Звучать и петь без этой смерти смочь?

И как вкусна малина на погосте,
Которую садовник не ласкал...
Умрет отец, истаскивая кости...
Дом – сыновьям, а для него – доска.

С плеч головы не отряхнуть заране.
Есть польза и от мертвого орла.
Всё мертвое для новой жизни встанет,
И смерти нет, что жизни немила.

По-новому, но для живого брызнет
И после смерти солнечная ясь.
Всё числится в регистратуре жизни,
И капельке бесследно не пропасть.

И так, и этак. Новое за новым.

Чтоб жить другим, кончается одно.
Лен умирает для мотков суровых,
А из мотков родится полотно.

Перед зарею в безголосьи птичьим
Стучит рыбак веслом невдалеке.
Твой поцелуй росистый и девичий
И на губах, и на щеке.

Ночь – девушка! Еще побудь над краем.
Под пальцами твоя теплеет плоть.
Никто... и тот, который умирает,
К тебе любви не может побороть.

Утро («Русь осенней проселочной ряби!»)

Русь осенней проселочной ряби!
Мне тебя не измерить верстой...
Ржавь листвы загребают без грабель
Ветер утренний в чаще лесной.

Бубенцами звенят по-родному
Золотистые стаи осин.
В молчаливую просинь, как в омут,
Дождь рябиновых искр моросит.

Деревенская песня соломы —
По-старинному – грусти полна.
Вот иду я проселком знакомым
Отыскать, где укрылась весна.

Путь далекий, и скучный, и длинный,
Но на этом пути не засну.
Не забыть мне, как май соловьиный
К моему проливался окну.

Я еще молодой и плечистый,
Чтобы в осени тлеть и сгорать, —
Лишь осенние мертвые листья
Жгут безогненный пламень костра.

Мне весна в этой осени скрыта,
И весну я ищу на пути...
В это утро, поселок забытый,
Не грусти – не грусти – не грусти!

Всё равно – так поверилось думам —
Я с весной соловьиной вернусь,
Пусть сентябрь остается утрюмым,
Опечалив безлистую Русь.

Тихозвучающая песня соломы
Над деревнею русской слышна.
Вот иду я проселком знакомым

Отыскать, где укрылась весна.

Есенин («Захрипела кабацкая Русь...»)

Захрипела кабацкая Русь.
Поножовщина, матерный выклик.
Ты повесился первым и – пусть!
Мы печалиться шибко привыкли.
Перегаром воняет кабак
И кабацкие пьяные думы.
Засинел и заплавал табак,
Затуманив кабацкие шумы.
Будь, оттуда – шнурок и петля.
– Туже! – туже затягивай горло!
Жизнь – такая... такая земля. —
А от водки дыхание сперло.
Мат собачий кровавит глаза
Проституткам, бандитам, поэтам.
Не от спирта ли веришь слезам?
Не от водки ли песня не спета?
Дождь и ночь, не видать синевы.
Над бульваром скучающий камень.
Охмелел, не поднять головы.
Голова тяжелеет стихами.
Жалко, что ли, себя самого?..
Проститутка гнусавит за пивом:
– Как родная деревня живет

– И родные волнуются нивы?
К мужикам я поеду скорей!..
Месяц тучи сгребает без грабель;
И до дна засыпают ручей
Листвяные осенние ряби.
Грусть ночная и... звездная темь.
Каждый кустик доходит приветом.

.....

– Я, родная, приехал совсем:
– Быть крестьянином,
– А не поэтом.
– Я теперь – не Сережа. Давно
– Я – безбожник и пьяница даже.
Ветер. Кляча. Седое гумно.
Старина. Материнская пряжа.
– Не стучи, о родимая, так!
– Не буди, не ворочай котомкой!
– Я устал, я устал, я устал.
– Сердце высохло веткою ломкой.
Мык теленка. Взблеяла овца.
Березняк и пушистые ели...

.....

– Пей! Ну, пей же!.. Не видно конца.
Вот пришли гармонисты и сели.
– Эй, играй! Эй, играй! Эй, играй!
– В омут, что ли? Веревку да камень?
– Я у водки рыданье украл
– И за это болею стихами...
– Эй, играй!.. Замолчи, негодяй!

- Сифилитик, подлец и убийца!
- Я бутылкой – на верный угад —
- Расшибу озверелые лица!..
- ... – Скука!.. Скука! Грустить, не грустить!..
- Я – не Разин, Есенин – поэт... ..
- Прочь, трепло! Отпусти – отпусти!
- Я не с ними. Я не из этих.
- Финский нож для врагов припасен.
- Эка штука! убить и забыться.
- Гармонист... Гармонист без усов.
- Ты, наверно, давнишний убийца!

.....

Ночь... и вышел. Осенняя мгла.
Моросит. У фонарного круга
Кокаином делиться смогла
Проститутка с ночною подругой.
Ветер. Шум телеграфных столбов.
В закружившихся взорах – извозчик.
Он скучает...

- Эй, соня, готов?
- Мчи коней, чтобы скрыться от ночи!

.....

День за днем выплывают года.
Было – было, да всё отшумело.
И затянут шнурок навсегда,
Вдруг затянут... на горле умело.
Спи, Распятый! Великая грусть
На твое опустилася имя.
Ты ушел безвозвратно и – пусть! —

Русь привыкла грустить над своими.
Только боль, от которой погиб,
Ты оставил в подарок другим.
Твой подарок – твой жуткий зарок —
Русь. Кабак и печаль...
И шнурок...

II Стихи о Севере

Полярная поэма («В этих краях седых...»)

I

В этих краях седых,
Как ледяная тьма,
Ночь караулит льды,
Дням приказав дремать.

Не сосчитать часов,
Чтобы увидеть день...
В шуме полярных сов
Клонит рога олень.

Волк, человек, песцы.
Каждый другому – враг,
Зверя во все концы: —
На четырех ногах!..

Зверю резец и клык
Заострены ножом,

А человек велик
Страшным своим ружьем.

Слаб человек в руках,
Ног – не четыре, две;
А в голубых снегах
Бегаёт быстро зверь.

У человека нет
Волчьих зубов во рту,
Шерсти звериной нет,
Хоть замерзает ртуть.

Но перед зверем – пас
В силе и на бегу,
Не погасил он глаз
На голубом снегу.

Ноги сменил ему
Быстрый олений бег...
Сани бороли тьму
И бездорожный снег.

В тундре, в железных льдах,
Где тосковать – зиме, —
Зверя в его следах
Он проследить сумел...

Зверю резец и клык

Заострены ножом,
А человек велик
Страшным своим ружьем.

Просто ружье на вид:
Дуло, замок, приклад.
Щелкнет и – загремит
Выкинутый заряд.

В тундровой тишине
Ярок ружейный гром.
Зверю – оцепенеть,
Не затаясь в сугроб.

II

Волку голодный час
Делает зубы злей.
Зоркий звериный глаз
Видит: идет олень.

Он от пути устал,
И человек в санях.
Думает волк спроста
Голод оленем унять.

Снег, раскрипевшись, смолк,

Сани ушли едва.
Взвыл отощавший волк,
Чтобы других позвать.

III

Ночь – в голубых снегах.
Тундра. Грусть. Человек.
Звезды в оленьих рогах
Путаются средь ветвей.

Не убыстрят мгла
Ровный олений шаг,
Но по следам стремглав
Волки к саням спешат.

Заледенела ширь.
Заледенела тьма.
К смерти олень спешит,
Насторожась впотьмах.

Сани... Олень... Зверей
Голод острее жжет.
Не разогнав саней,
Взял человек ружье.

Щелкнув курком, гроза

Вытолкнула заряд.
Полузакрыв глаза,
Первый упал назад.

Взвыл и... упал совсем,
Перепугав других,
И затаились все,
И человек затих.

Трусости не одолеть.
Как под свинцом ступать?
Вдруг задрожал олень
И в темноте пропал.

IV

Зверю – резец и клык
Заострены ножом.
А человек велик
Страшным своим ружьем.

Тундра, снега и льды.
Жить – убивать и есть.
В этих краях седых:
Волк, человек, песец.

Здесь, в голубых снегах, —

Ночь, грусть, человек.
Звезды в оленьих рогах
Путаются средь ветвей.

Пусть человек угрюм,
Крепче камней и льда —
От молчаливых дум
Он не привык рыдать.

Нету воды у рек,
Вымерла сплошь до дна...
Северный человек!
Северная страна!..

.....

В этих краях седых,
Как ледяная тьма,
Ночь караулит льды,
Дням приказав дремать.

Волки («Ветер. Мороз. Снеговая тоска...»)

Ветер. Мороз. Снеговая тоска.
Месяц смерзается в лед,
Волки выходят добычу искать,
Лес исходив напролет.

Север, в ночи обезлюдев, погас.
Сон на сугробах застыл.
Светится волчий дозорливый глаз
В синюю зимнюю стынь.

Волчья судьба и строга, и проста,
Голод, морозы, снега.
В очередь каждый ложится в кустах,
Не устояв на ногах.

Будет ослабший добычей другим,
Если заметят, как лег.
Каждый до смерти своей береги
Силу звериную ног!

Острые морды, глаза – огоньки,
Крепкие зубы в оскал.
Волку нельзя рассказать без тоски,
Как забирает тоска.

В диких просторах, в сугробах и льдах
Воеет звериная сыть,
Как научилась она голодать,
Рыскать, бороться и выть.

Есть в этом вое глубокая ночь,
Месяц холодный и ширь.
Север не в силах его превозмочь

Или в снегах затушить.

III Карусель

Ярмарка («Колеса скрипят...»)

Колеса скрипят...
Бороды – в ряд:
Рыжая, сивая, черная с рыжей.
Солнце, дивуясь, спускается ниже.
Ругань – как деготь —
Над пыльной дорогой.
Льется, как деготь, густая-густая,
В многобородых звучаньях растаяв.
Матерных слов не считать – не сочтешь!..
В русых усах вспоминается рожь.
Шум оглобель,
Лается хриплый заносчивый кобель;
Черный картуз,
Бравый ус,
И к кумачу – да кумач, да опять
Ситцевым пламенем вылит пылать.
В гамы и грохи —
Не ахать, не охать!
Солнце звенит бубенцами сплеча,
Ниже и ниже
В разлив кумача

Падает хворостом рыжим.
Бабы плечом округляют платок.
Кофты цветами сияют и жгутся.
Каждому: ситцы, свистульки, рожок,
Даже с разводами синими блюдца.
Эй!
Горячей!
Веселей!
Горячей!
Крики цыган.
Будет здесь всякий от сутолки пьян...
Мык ошалевших от шума коров,
Топот басистых шагов.
В гамах и грохах —
Не ахать, не охать!
Льется костром кумачовым народ...
Шибко раскрыв оглушительный рот, —
Девкой губастой в зычном весельи —
Ярмарка —
Ярмарка гулко орет,
Ветרוкрутятся на шальной карусели:
– Эй!
– Веселей!
– Горячей!
– Веселей!
Ярче рябин этот вихрь кумачей.
Мчится без усталы круг карусельный,
Веют и юбки, и кофты метелью.
Ярмарка – девка, цветистая плоть,

Жар и солнце не прочь побороть.
Дышит порывно, орет, всхихотав —
Солнце садится на яркий рукав.

Девка хохочет

Из всей своей мочи —

Икрами белыми брызжет в кругах.

Ражая девка – совсем не карга —

Семечки лущит, бросает, шуршит.

Ражая девка, что мед для души:

С этакой жить – не тужить!

Вот через гулы и гамы телег —

Солнечных песен самих веселей —

Шибко раскрыв оглушительный рот,

Ярмарка-девка

Зазывно орет:

– На карусели моей покружись,

– Лесобородая сельская жисть!

– Эй, крепкозадая бабья дремынь!

– Для карусели заботу покинь,

– Расхохочись в полоротый замах,

– Словно ты сделалась солнцем сама!

Солнце ли кругом? баба кругла?

А карусель понесла, понесла.

Груди под кофтою бабьей дрожат.

– Стали ребята за хохотом ржать.

– Парни садятся на карусель,

– Пусть кумачовая вихрит метель!

– Кругом —

– Друг за другом —

- Вертокруть —
- Не отдохнуть!
- Бабы платки,
- Бабы смешки.
- Крики, визги,
- Пестрые брызги.
- Несись!
- Кружись!
- Мужицкая жисть!
- Эй!
- Веселей!
- Горячей!
- Веселей!

.....

Ярмарка – девка, горластая в зычном весельи!
Надо б и мне покружить на такой карусели.
Под перекаты гармошки, под солнечный звон —
Жарким костром твоих ситцев, как пакля зажжен —
Пусть распоюся и я – на мотив неизвестный —
Широкоротой, румяной, неграмотной песней.

Деревенская весна («Тепло- тепло на завалинках...»)

Е. Поленовой

Тепло-тепло на завалинках.
Дедушка Федос в старых валенках
Сидит на завалинке в картузе своем
Этаким чудесным замшелым грибом.
Нос большой – сизо-малинов от свежего солнца,
А под глазами – морщинок-сетей волоконца,
Лицо морщится, словно картофель печеный,
А картуз дедов от времени зеленый.
Сидит себе, смеется, на что не зная:
Бороденка редкая буро-седая,
Шея платком повязана красным, дочерним:
Может быть, собирался к вечерне,
Только ведь в валенках не пройти,
И решил остановиться в пути,
На завалинке посидеть
И послушать, как поет колокольная медь.
Добренький, тоненький, глазки – смородина,
Да и повадка совсем не воеводина,
Что-то под нос бормочет
И двигаться не хочет.
Над ним крыша соломенная,
Над крышей – апрель,
А в небесах синель.
Сам он в ватной кацавейке,
Ржавой, засаленной и цветом схожей с рыжей
проталиной,
Такой тихий гриб, простой, без обманки —
Не особенно вкусный подарок веснянки,
Но милый, добрый и очень родной

С своим сизым носом и морковной головой...
Тут невольно сердцем весенним поймешь,
Что дедко Федос думает про рожь:
Думает про севы, сохи, запашки,
И как бы через это сшить внукам
По новой рубашке.
Думает крепко: прееет, потеет, старается,
А мысль тугая совсем не ладно слагается...
Милый Федос! Гриб ты наш русский, старинный,
Мужичок-полевик, богатырь аржаной, двухаршинный,
Думай – не думай, а снова паши без устанки!
Сей, невзирая на плутни, безделье, обманки!
Снова с сердечным приветом тебе поклонюсь
За многоверстную, чудную, трудную Русь.

Июль («Солнце светлого июля расцвело везде...»

Н. Сахарову

Солнце светлого июля расцвело везде
И румяно заплясало на речной воде.
Девки поодаль – разделись – свежи и яркие, —
Смуглым телом оживляя зелень осоки.
Вот Машуха и Феклуша, груди не закрыв,
Раскачали над рекою дым кудлатых ив.

И, визгливо окунаясь в тишину воды,
Даже воздух обжигали телом молодым.
Мужики разделись молча, щупая ногой:
Холодна вода, тепла ли в этот жарый зной?
Срыву кинулись в воду и – пошла писать:
Гоготала, уплывала водяная рать.
Эки шутки вытворяли все бородачи! —
Лапой воду рассекали в звонкие ключи;
Грудь мохнатая пугала водяной покой —
Рыбы в страхе укрывались за травой речной...
Девки долго не купались, но – волнуя грудь —
Вылезали и садились в травах отдохнуть.
Солнце млело в бабьем теле золотым теплом.
Омут взбрызгивал на воздух прытким голавлем.
Изумрудный зимородок мчался к берегам,
И резвился над кустами сенокосный гам.

Я плыву вверх по Вас-Югану. Стихотворения 1928–1934

I

«Опять сию, очерченный кругами...»

Опять сию, очерченный кругами
Чешуйчатых широкобоких слов.
Они поплескивают над стихами
Павлиньим опереньем плавников.

Они летят по воздуху лещами,
Ложатся набок, изогнув хребты.
И в тесноте, заставленной вещами,
Мерцают красноватые хвосты.

Я их ловлю, увертливых и скользких,
Распластываю и кладу в тетрадь —
Калужских, вологодских и подольских,
Умеющих по-рыбы трепетать.

И, как в ряды, укладывая в строки,

Я трудно жду, чтоб ожили стихи,
Чтоб в буйном плеске слов широкобоких
Закликали лихие петухи.

Я трудно жду. Надеюсь, жду, страдаю,
Но что за прок в страдальчестве моем?
Слова-лещи, какое ни поймаю,
Скрутившись ледяным полукольцом,

Сейчас же мрут. И меркнут двоеточья
То желтоватых, то багряных глаз.
Тетрадь молчит. А в сердце входят ночи,
И я сижу среди мертвых слов и фраз...

Уж третий год, как я, рыбак бессонный,
Отказываясь от всего, чем жил,
В каморке, словно в озере зеленом,
Ловлю слова, исполненные сил.

Уж третий год, освистан и охаян,
Упрямый, сумасшедший и глухой,
Я жду, чтоб сумасшедшая, глухая
Тетрадь заговорила бы со мной.

И вот сижу с лицом желтее воска,
Подвижничеством занят, как всегда.
А за окном – Москва и отголоски
Веселого московского труда.

А за окном раскидистые вязы
Карабкаются в небо, и по ним
Хвостатые, окутанные газом,
Сбегают звезды в неподвижный дым.

И голенастые, в папах черных —
Почти что стоэтажной высоты —
Вдоль набережной, как отряд дозорных,
Идут деревья сторожить мосты.

Они идут рядами через площадь
В каких-то облаках пороховых...
И вдруг —
от ветра форточка полощет.
Оглядываюсь:
меловой, как мощи,
Шась от обойных пестрых заковык,

В одном белье, ключицы выпирают,
Костистый, бестелесный, как Кощей, —
Такие не живут, а умирают, —
Поэт Некрасов в комнате моей.

Покачивая жидкою бородкой,
Он возникает за моим плечом.
А я, как горький пьяница над водкой,
Клонюсь над неудачливым стихом.

И, выкатив кадык остроугольный,

Через мое плечо, уныл и строг,
Он тянется за лампою настольной,
Чтоб разглядеть собрание мертвых строк.

Он смотрит на раскрытую тетрадку,
Где ни одна строка не запоет.
И вижу я презрительную складку,
Кривящую его печальный рот.

И, от тетрадки поднимая брови,
Как бы поняв ее ночную глубь,
В мои глаза, спокойный и суровый,
Он смотрит и не размыкает губ.

И сердце, всполошившись перепелкой,
Вдруг чувствует, как тесно и темно
В ребристой клетке, где стучать без толку
Ему, быть может, долго суждено.

И кровь разгоряченную волною
Спешит к вискам и обжигает их.
И густоперой хищной чернотой
Ночь кружится среди стихов и книг.

И гулко, об пол грохнув табуретом,
Я падаю – и вижу над собой
Полупрозрачное лицо поэта
С протянутой зовущею рукой.

Я вижу, как худой и длинный палец,
Вытягиваясь поперек стены,
Сквозь комнату, где тени расплясались,
Плывет ко мне из черной глубины.

И лба касается. И хриплый голос
Скрипит, как напряженный смычок:
«Так неужели не перемолось
Твое терпенье в мелкий порошок?

Так неужели, недоумевая,
Ты до сих пор еще не разобрал,
Что только жизнь, горячая, густая,
Слова приносит, как девятый вал?

Слова мертвы, когда затворник пишет.
Другого объяснения не ищи!
Лишь за окном толкаются и дышат
И раскрывают жабры, как лещи.

Пора оставить дикое занятие —
Копить обиды, дуться на года.
Пора разбить окно, чтоб над тетрадью
Жизнь хлынула потоком, как вода.

Чтоб в тесноте, заставленной вещами,
Плеща, играя, понеслись слова!
Вставай, идем! Совсем не за горами,
А за окном высокая Москва.

Вставай, идем!»
И, разрывая в клочья
Тетрадь,
встаю...

Апрель – июль 1934

II

Про себя («Помолодеть бы на десяток лет!»)

Помолодеть бы на десяток лет!
Пускай бы в зеркале заулыбалось
Лицо, в котором ни морщинки нет,
Глаза, которым не страшна усталость.
А впрочем, не грусти, читатель мой!
Что проку в отрочестве желторотом?
Еще покуда хитрой сединой
Не тронут я. И никаким заботам
Не поддаюсь. Вперед, вперед, вперед
Шагаю я, упрямый и лобастый:
Вот только сердце иногда сдает,
Но, кажется, пустое. И не часто.
А отрочество – это пустяки:
Чему научат маменькины юбки?
Что слышали уездные сынки,
Запрятавшись галчатами в скорлупки?
Смешно, когда двадцатилетний бас
Вдруг вспоминает про петуший дискант,
Которым он певал в апрельский час,
Когда был свеж, как первая редиска!

Понятно, жалко, что уже не так
Поглядывают на тебя девчонки.
А всё же, поэтический простак,
И ты бы не хотел назад в пеленки?

Морщины? Ну и что ж, – рубцы бойца.
Глаза мутнеют? – Многое видали.
Я научился ремеслу ловца,
Стерлядки в вентера мои попали.
И пусть мой голос с легкой хрипотцой —
Недаром дул крапивный жгучий ветер —
С охотничьей сибирской хитрецей
Я разыщу места,
Поставлю сети...

Теперь – Москва. На третьем этаже
Живу, дышу, работаю, потею.
И, что ни год, острее и свежей
Люблю ту жизнь, которую имею.
Ее горчинка мне по вкусу: в ней —
Следы охотничьего покоя:
Опять-опять бредем среди степей,
То рубим гати, то следим зверей,
То боремся с драчливою рекою.
И то-то хорошо, что башмаки
Дорожные, в которых я когда-то
Шел на Чонгар, всё так же мне с руки,
Нужны всё так же, хоть они в заплатах!

Ровесники! Я с вами! Вот ружье!
Косматый ветер в перьях сизо-серых
В воронках кружит сосны, воронье
И светлячков в оконце старовера.
И черными спиралями тропа
Бросается сквозь наледи в сугробах.
И бьет, и бьет январская крупа
По кочкам и пенькам широколобым.
А за кустом горбатый старовер
Хозяйственно хлопочет над обрезом.
И вдруг – гремит. А сосны скачут вверх,
Врываясь в небо. Тяжелей железа
Лечу на хворост. Лапчатой звездой
Резнет глаза. И мир погаснет разом.
Лишь перья ветра. Вьюга. Волчий вой.

Но тут мы распрощаемся с рассказом
И в зеркало дешевое опять
Посмотримся. Лысеем? Ну и что же!
Мы знали жизнь, как многим не знаять.
И мужественно будем умирать,
Помыслив с твердостью: я славно прожил!

1934

Теплушки («Уж поезда давно в единоборстве...»)

Уж поезда давно в единоборстве
С разрухой станций. Мутною свечой
Они сквозь ночь выносят непокорство
На тихий город с красной каланчой.

Пусть ночь плотна, теплушки утверждают
В ее владеньях свой солдатский быт:
Свистят и воют, дружно голодают,
Больные и облезлые на вид.

У всех одно солдатское обличье,
Шинельное и серое, как дождь
В сентябрьский день. Несметных их количеств,
Пожалуй, и в неделю не сочтешь!

Они платформы осыпают в шуме
Сапог разбитых, блещут чешуей
Серебряною чайников, безумье
Мертвящих тифов носят за собой.

От них бегут, сторонятся и в прятки
Играют с ними: то игра, как смерть.
Здесь не помогут никакие взятки,

Здесь жизнь ломают, как сухую жердь.

Составы убегают от вокзала,
Вгоняя в дрожь разбитое окно.
Как мухами засиженное, зало
Мешочниками испещрено.

Куда ведут расхлябанные рельсы —
Позабывают, если на путях
Рвет облака свистками из-за леса
Чугунный задыхающийся шаг.

Покашливая, с хрипотцою, паром,
Одышливый и гулкий паровоз
С болезненным и непонятым жаром
Развертывает музыку колес.

Он вырывает — из-за станционных
Домишек — смешанных вагонов ряд,
Которых так трепали перегоны,
Что те до смерти ехать не хотят.

Еще не остановка — и в Челябинск
Идет ли поезд? Неизвестно, — но
Шинельные и ситцевые хляби
Потопом раздувают полотно.

Бьют сундучком, бьют чайником и просто
Бьют кулаком, чтоб в схватках поездных

Отбить состав, зверея от прироста
Подспудных сил, вдруг закипевших в них.

Отстаивают взятые позиции,
На буферах, на крышах грохоча;
Мелькают руки, бороды и лица,
То – меловые, то – из кирпича.

Пристраивают сундучки и чают
Вернуться с хлебом и уже, рядом
Подсаживаясь к бабам, их смущают
Румяным, нестыдящимся словцом.

И уж «хи-хи» несет по огуречной
Вагонной крыше, а под ней, внизу,
Малиновой гармоникою вечной
Клубит теплушка через щель в пазу.

И нехотя, крепчая понемногу,
Наматывая на колеса путь,
Состав, как червь, вползает по излогу
В березовую крашеную муть.

Пока настой раскуренной махорки
Мешается с прохладной пустотой,
Оставшиеся смотрят, как с пригорка
Исчез состав, заставясь берестой.

Когда ж черед их? И бредут обратно,

Шурша лузгою семечек, и тут
Обсеивают перрон, как пятна,
Жуют картошку, сплевывают, ждут.

Перрон моргает сеткой веток мокрых,
Густою стаей галок затенен.
Опять встречает комендантский окрик
Пришедший из уезда эшелон.

Переселенье? Тронулась Россия:
Она на шпалах долго проживет...
Нам незабвенны ливни проливные,
Что обмывали кровью этот год!

В ночные шахты памяти зарыто
Семнадцать лет, и верить тем трудней,
Что сыновья теплушечного быта
Для матери-земли всего милей.

В них есть ее уральская усмешка,
Спокойное величье до конца, —
Под скорлупой каленого орешка —
Испытанные, свежие сердца.

«А через два года тридцать мне!»

А через два года тридцать мне!

И путь мой такой же, как у всех,
Что шли, как я, со мной наравне
В декабрьских сугробах, в майской росе.

Военное солнце встает из тьмы, —
Жизнь стонет над белой смертью рек.
Я вспомнил, как умирали мы
И как начинался двадцатый век.

Пусть в нашем здании метил мертвец
Каждый кирпич и каждый гвоздь, —
Не нужно игрушечных сердец:
Что боль, если время прошло насквозь?

Ты видишь, их смерть была нужна,
Бессмертьем их дышит любой завод.
Горнистом с зарей трубит страна:
Мой возраст она опять зовет.

Турксиб («Верблюжьи колючки. Да саксаул...»)

Верблюжьи колючки. Да саксаул.
Да алый шар солнца над
Сухими буграми. Да жаркий гул
Вагонов... Степь. Мир. Закат.

Тут сушь разогретой пустой земли
Жжет рельсы, свистит в окно.
Змеиную шею верблюдов в пыли
Повертывает на полотно.

И в медном безлюдьи нагих широт,
Выглядывающих, как погост,
Вдруг – юрта, где брат мой – киргиз – живет
Приятеlem мертвых верст.

Ни капли воды. Солона, горька
Земля. Даже воздух весь
Разносит запах солончака
В зеркальный металл небес.

Владычеством смерти и торжеством
Бесплодной земли восстав,
Здесь степь против разума, и кругом
Ее сумасшедший нрав.

Она отрицает себя и нас,
Верблюдов, киргизов, мир,
Когда добела раскаленный глаз
Ее превратил в пустырь.

И можно поверить, – когда б не так
Я крепко дружил с землей, —
Что мир опустел, нищ, угрюм и наг

Перед этой слепой бедой.

Но жаркий железный вагонный стук,
Но рельсы сквозь этот ад...
И вот над пустыней, как верный друг,
Свисток разорвал закат.

По древней верблюжьей тоске твоей,
Преступница прав земных,
Прошел колесом, обвился, как змей,
Стянул в литые ремни.

И в этом отмщенье испей до дна:
Пшеница, вода, арык;
И будет другая весна дана,
Чтоб к новой киргиз привык.

Что смерть? Что безумство? Иная крепь
Осилит твой дикий нрав.
Так будь человеку покорной, степь,
Всею силой земли и трав!

12 июля 1930

Ст. Арысь

III

Я плыву вверх по Вас-Югану «На горьком цветущем черемух, под кедровый звон...»)

Н. Дулебову

На горьком цветущем черемух, под кедровый звон,
Веселый май, как хозяйка, затворил
Сибирскую пьяную воду весенних рек
И книзу, на север, отчалил на обласке.
Зальется ль из черных окон медных чаш
Певчим теплом? А уж как высока вода!
Уж как высока зеленоватая цвель,
Крутящая гиацинты и огоньки!
Здесь красный песок, там стропила до облаков, —
Им тяжкие тучи, им небо легко держать!
А кедровый строй для меня, как радушный дом,
Изба, нарубленная из смоляных стволов.

Да, лед прошел; отыграла шука.

Я сел в обласок, я взмахнул веслом и плыву;

И в летний пар зарывается обласок,
И тихий смородиновый Вас-Юган,
Весь в кольцах, обсасывает борта.
Считаю ли кедры, а с балок, из-за кустов,
С пугливых опушек, с прудов и болотных рам —
То запах ночной красавицы, то звезда,
Бегущая паучком по сапогу.
Березовый обласок налегке
Ныряет в летний пар, как осетр.
Горбатое солнце. Малиновый день.
Июнь жужжит и вьется над головой.
Июнь жужжит, как оранжевый шмель.
А солнце сядет, — с накатов тайги
Черным маслом, пятнами по воде,
Глубокая расплывается ночь.
Вот-вот всё погаснет. В рогатых макушках, в их
Хвостатых перьях, в вороньей черноте —
Последние сполохи птичьего дня.

Я знаю. Займется сердце. Из омутов —
Из-под кустов, из размывов и водных ям
Сплываются шуки, и звонкая плескотня
Колеблет июньскую сетку белых звезд.
И шукою обласок между шук
Стоит у калины. Не ветер ли? Или стон
Всхрапнувшего кедра? Забравшись на верхний сук,
Скрипит и раскачивается деревянный бог.
А утром медведь-белошейка прогонит пчел,
Накидку сдернет, смородину оголит,

И, красноглазый, сомнет застеклевший куст
И гроздь за гроздью ягоды оберет.

Березовый обласок налегке
Ныряет в летний пар, как осетр.
И тихий смородиновый Вас-Юган,
Весь в кольцах, обсасывает борта.
А майских, а белых, а белых черемух цвет
Давно унесло, унесло по высокой воде.

Жужжит, жужжит остяцкое лето.

Я дней не считаю, я всё плыву и плыву.
И кажется мне, что июль на ущерб идет.
Березовый обласок легче ивовой ветки. Он
Быстрее хариуса на ходу.
Всё уже и уже становится Вас-Юган,
И скоро придется вытащить обласок,
На плечи взвалить и широко открыть глаза
У синей воды слюдяных озер.
Там черные лапы кедров держат жизнь
Духмяных трав, слюдяного озера, рыб.
В телесном запахе прелых стволов
Посеяны рыбы загадки, щучья соль:
Под каждым, под каждым утопленником-стволом
Стоят часовыми щуки. И остяки
Торопятся с прибылью загадать мотню,
Когда она тонет и валуном идет...
Седая и страшная щука грызет мотню, —

Утятница-щука, изогнутая дугой,
Запутав в ячейх сизое перо,
Всползает из глубины на песок.

У синих озер я встречу осень.

Я белой черемухи жду, чтобы плыть туда,
Откуда течет ясный Вас-Юган.
И вот уже горьким гусиным пухом с кустов
Осыпало реки и сладко метет-метет.

Я белой черемухи жду, чтобы взять весло
И вверх пробираться в рыбу синеву
Глубоких озер – под охраной кедровых чащ —
И встретить осень у остяков.
Да сколько же лет этим щукам? Я лег на дно.
Янтарная осень и золотой-золотой, —
Не женский ли? – волос низко летит у воды
И нежно липнет к шершавым бортам.
Хотя бы кукушка! И вот, тишины не вспугнув,
Спускается и в упор смотрит ясный день.
Вздохнуть и отдать этот вздох! Я вспомнил вдруг,
Что ты выходила на провода в черном платке.

Осень 1932

Д. Восток

IV

Полк («Полк шел на север. Непогода...»)

Полк шел на север. Непогода
Клубила из открытых ям.
Полк проходил по огородам
И по картофельным полям.
Косили дождевые капли,
Жужжали в мокрой синеве.
В дыму, в пожухнувшей ботве
Торчали заступы и грабли.
И обвисала, мокла, гасла
На русских, на усатых пряслах
Курящаяся конопля.
Полк шел на север. В ночь. В поля.

А за рабочими штыками
С их петербургским говорком
Сквозь щель, украдкой, за дверями
Подсматривали всем селом.
В закутах плакали телята,
И под накрапом вятских звезд
Молодки в темноте мохнатой
Садились на капустный воз.

И с Вятки ль, с Вологды ль, с Двины ли —
Дул норд. И, миновав кресты,
В которых псы по-волчьи были,
Пройдя овраги и мосты,
По кочкам и болотным цвелям
В разбитых рыжих сапогах,
Печатая глубокий шаг,
Полк проходил через недели.

Всё было чуждым. И закат
Среди рогатых темных елок.
И горбунки ребристых хат.
И бельма окон. Длиннен, долог
Был путь. А ветер гнул шесты,
Качал ворон, сбивал рябину;
А серый снег летел в кусты
И обсыпал крупой холстину.

Полк шел на север. Он забыл
Об отдыхе. Его трехрядки
Молчали. Из болотных жил
Ржавь проступала. В лихорадке,
Скрипя зубами, — год не в год, —
Они молчали, шли вперед.
Болота. Елки. Целина.
Звонарни. Ветряки. Ограды.
Холстина. Волки. Конокрады.
Полк шел на север. Шел без сна.

1934

Моя родословная

1. Прадед

Есть во мне горячая струя
Непоседливой монгольской крови.
И пускай не вспоминаю я
Травянистых солнечных становий.

И пускай не век, а полтора
Задавили мой калмыцкий корень, —
Не прогнать мне предков со двора,
Если я, как прадед, дик и черен!

Этот прадед, шут и казачок,
В сальном и обтерханном камзоле,
Верно, наслужить немного мог,
Если думал день и ночь о воле.

Спал в углу и получал щелчки.
Кривоногий, маленький, нечистый —
Подавал горшки и чубуки
Барыне плешивой и мясистой.

И, недосыпая по ночам,
Мимо раскоряченных диванов
Крадучись, согнувшись пополам,
Сторонясь лакеев полупьяных,

Покидал буфетную и брел
Вспоминать средь черной пермской ночи
Ржание кобыл да суходол,
Да кибиток войлочные ключья.

Видно, память предков горяча,
Если до сих пор я вижу четко,
Как стоит он – а в руке свеча —
С проволочной реденькой бородкой.

Наконец, отмыт, одет, обут,
В бариновом крапленном жилете.
Сапоги до обморока жмут,
А жилет обвис, как на скелете.

А невеста в кике, в распашной
Телогрее, сдвинув над глазами
Локти, разливается рекой,
Лежа на полу под образами.

«Замуж за уродца не хочу!
Только погляжу, как всю ломает!»
А уродец, выронив свечу,
Ничего, как есть, не понимает.

Девка хороша, как напоказ,
В лентах розовых и золоченых.
Но лишь только барынин приказ
Исполняет жалкий калмычонок.

Он не видит трефовой косы,
Бисерного обруча на шее,
Как не спит, как в горькие часы,
Убиваясь, девка хорошеет;

Как живет, смирившись, с калмыком...
Так восходит, цепкий и двукровный,
Из-за пермских сосен, прямиком,
Дуб моей жестокой родословной.

2. Дед

Смуглолиц, плечист и горбонос,
В плисовой подбористой поддевке
И в сорокаградусный мороз
В сапожках на звончатых подковках,

Сдерживая жарких рысаков,
Страшных и раскормленных, что кадки,
Он сдирал с обмерзших кулаков
Кожу из-под замшевой перчатки.

И едва, как колокол, бочком,
Тучная купчиха выплывала,
Мир летел из-под копыт волчком:
Слева – вороной, а справа – чалый.

Тракт визжал, и кланялись дома.
Мокрый снег хлестал, как банный веник.
И купчиха млела: «Ну, Кузьма!
Хватит! Поезжай обыкновенно!

Ублажил. Спасибо, золотой!»
И косилась затомленным глазом
На вихор и на кушак цветной,
Словно радугой он был подвязан,

Строгий воспитатель жеребцов
В городах губернских и уездных,
Из молодцеватых кучеров
Дед мой вскоре сделался наездник.

И отцов калмыцкий огонек
Жег, должно быть, волжскими степями,
Если он, усаживаясь вскок
И всплеснув, как струнами, вожжами,

С бородой, отвеянной к плечам,
С улыбающимися клыками
По тугим оранжевым кругам

Гнался за литыми рысаками.

Богатейки выдыхали: «Ах!»

В капорах, лисицах, пелеринах,

Загодя гадая о бровях

Сросшихся и взглядах ястребиных.

И не раз в купеческом тепле,

У продолговатых, жесткокрылых

Фикусов, с гитарой на столе,

Посреди графинов, рюмок, вилок,

Обнимаясь с влюбчивой вдовой,

Он размашистые брови хмурил

Перед крутобокой, городской

Юбкою на щегольском турнюре...

И когда ревнивица, курком

Щелкнув в истерической горячке,

Глянула: на простынях ничком

Он лежал, забыв бега и скачки.

И, как будто вольный человек,

А купцов холуй на самом деле,

Свой завившийся короткий век

Кончил на купчихиной постели.

3. Внук

Что же, – видно, очередь за внуком?
Вот я – лысоват, немолод, дик.
Знать, не сразу трудную науку
Жизни человеческой постиг.

Я родился в стародавнем мире —
Под пасхальный гром колоколов
С образами, с ладаном в квартире,
С пеньем камилавочных попов.

Маменькин сынок и недотрога,
Я тихонько жил, тихонько рос,
И катилась предо мной дорога,
Легкая для жизненных колес.

Ввергнутый в закон старозаветный
Со своей судьбишкой – не судьбой, —
Я, обремененный, многодетный,
Звезд не видел бы над головой.

Но страна хотела по-другому.
И крутой падучий ледоход
Смыл дорогу, разметал хоромы
И, как льдинку, выбросил вперед.

И среди широкой звездной ночи,
Посреди бугристых падунов
Вдруг очнулся маменькин сыночек
Голеньким, почти что без штанов.

...Был учителем, чернорабочим,
Был косцом, бродягой, рыбаком.
И по-лисьи облезали клочья
Старой шкуры с вешним ветерком.

И звериная тугая линька
По пути не раз лишала сил,
Потому что каждую шерстинку
Я из сердца сызмала растил.

И она тем медленней, труднее
Проходила, что в моей крови
Кровь текла дворовых и лакеев,
Ваша кровь, о, родичи мои!

Эта кровь, не верившая в небо,
В право правды, в честные глаза,
В сладость человеческого хлеба,
Покрывала всюду, где б я ни был,
Черной двойкой красного туза.

И когда б не годы, не учеба
У плечистых, грубоватых лет,
Может быть, как волк широколобый,

Я блуждал, разнюхивая след.

Может быть, и я бы лег на отдых
Под многопудовую плитой
Возле сосен в желтоперых звездах
Домовитым страшным Калитой.

Август – сентябрь 1934

Вьюга (1918) («За звонаря и метельщика...»)

За звонаря и метельщика
Нынче буря.
Лезет в звонарню
И за метлой в вокзал
Вносится,
Синяя, в белой медвежьей шкуре,
Крутится язычками,
Шипит у шпал.

Снова замерзшим Яиком
И Пугачевым
Душат сугробы.
Там начисто, здесь бугры.
Сабли рубили;
Косило дождем свинцовым;

Крышу снарядом снесло;
Замело костры.

Конские гривы.
Сугробы.
Без стекол.
Патроны.
Мусор.
Этот вокзал.
Этот перрон.

Без людей.
Занос.
В дальней усадьбе
Уралец ли белоусый,
С пикою, гонит
Помещиков
На мороз?

Впрочем, ни семафора!
И вовсе не скрип кибиток:
Медленное колесо,
Бибики по пятам,
Вьюга проходит трубы,
Вьюга свистит в забытых
Зданиях снежной станции,
Лезет к колоколам.

Стрелочник ли?

Грабитель?

В замети за вокзалом —

Бледное пятнышко света.

Ночь.

Человек.

Фонарь.

Вот он возник, тревожный.

Вот он бредет по шпалам,

Весь в башлыке, в тулупе,

Сквозь снеговую гарь.

Вьюга шипит и лепит.

Мир набухает бредом:

Гречневой кашей,

Полатями,

Песенками сверчка...

Бледное пятнышко света!

Вот, никому не ведом,

Он фонарем колышет,

Смотрит из башлыка.

За звонаря и метельщика!

С брагой да с песней!

Кто ж он?

Зачем на безлюдьи,

Под непогожий снег,

Выше на шпалы

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.